

VIII

Второй разряд несчастных, которым я тоже надеялся помочь после, были распутные женщины; таких женщин в Ржановском доме очень много всяких сортов — от молодых и похожих на женщин, до старых, страшных и ужасных, потерявших образ человеческий. Надежда эта на помощь этим женщинам, которую я сначала и не имел в виду, возникла во мне после следующего случая.

Это было в середине нашего обхода. У нас уже выработалась некоторая механическая сноровка обращения.

Входя в новое помещение, мы тотчас же спрашивали хозяина квартиры; один из нас садился, очищая себе какое-нибудь место для записывания, а другой ходил по углам и отдельно спрашивал каждого человека по углам квартиры и передавал эти сведения записывающему.

Войдя в одну из квартир подвального этажа, студент пошел отыскивать хозяина, а я стал опрашивать всех, бывших в квартире. Квартира расположена так: в середине квадратной в 6 аршин комнаты — печка. От печки идут звездой четыре перегородки, образующие четыре каморки. В первой, проходной каморке с четырьмя койками было два человека — старик и женщина. Прямо после этой — длинненькая каморка, в ней хозяин, молодой, в серую суконную поддевку одетый, благообразный, очень бледный мещанин. Налево от первого угла третья каморка, там один спящий, вероятно, пьяный мужчина и женщина в розовой блузе, распушенной спереди и стянутой сзади. Четвертая каморка за перегородкой, в нее ход из каморки хозяина.

Студент прошел в каморку хозяина, а я остановился во входной каморке и расспросил старика и женщину. Старик был мастеровой, печатник, теперь не имеет средств к жизни. Женщина — жена повара. Я прошел в третью каморку и спросил у женщины в блузе про спящего человека. Она сказала, что это гость. Я спросил женщину, кто она. Она сказала, что московская крестьянка.

— Чем занимаетесь?

Она засмеялась, не отвечая мне.

— Чем кормитесь? — повторил я, думая, что она не поняла вопроса.

— В трактире сижу, — сказала она.

Я не понял и вновь спросил:

— Чем вы живете?

Она не отвечала и смеялась. Из четвертой каморки, в которой мы еще не были, тоже засмеялись женские голоса. Мещанин, хозяин, вышел из своей каморки и подошел к нам. Он, очевидно, слышал мои вопросы и ответы женщины. Он строго посмотрел на женщину и обратился ко мне:

— Проститутка, — сказал он, очевидно довольный тем, что он знает это слово, употребляемое в правительственном языке, и правильно произносит его. И, сказав это, с чуть заметной почтительной улыбкой удовольствия, обращенной ко мне, он обратился к женщине. И как только он обратился к ней, так всё лицо его изменилось. Особенной презрительной скороговоркой, как говорят с собакой, не глядя на нее, он сказал ей:

— Что болтать зря: «в трактире сижу!» В трактире сидишь, значит, и говори дело, проститутка, — еще раз повторил он это слово. — Себе имени не знает, тоже...

Тон этот оскорбил меня.

— Нам ее срамить не приходится, — сказал я. — Кабы мы все по-божьи жили, и их бы не было.

— Да, уж это такое дело, — сказал хозяин, неестественно улыбаясь.

— Так нам их не укорять, а жалеть надо. Разве они виноваты?

Не помню, как я именно сказал, но помню, что меня возмутил презрительный тон этого молодого хозяина квартиры, полной женщинами, которых он называл проститутками, и мне жалко стало этой женщины, и я выразил и то и другое. Только что я сказал это, как из той каморки, из которой слышался смех, закрипели доски кроватей, и над перегородкой, не доходившей до потолка, поднялась одна спутанная женская курчавая голова с маленькими запущенными глазами и глянцево-красным лицом, а вслед за ней другая и еще третья. Они, видно, встали на свои кровати и все три вытянули шеи и, сдерживая дыхание, с напряженным вниманием, молча смотрели на нас.

Произошло смущенное молчание. Студент, улыбавшийся перед этим, стал серьезен; хозяин смутился и опустил глаза. Женщины все не переводили дыхания, смотрели на меня и ждали. Я был смущен более всех. Я никак не ожидал, чтобы случайно брошенное слово произвело такое действие. Точно поле смерти, усыпанное мертвыми костями, дрогнуло бы от прикосновения духа, а мертвые кости бы зашевелились. Я сказал необдуманное слово любви и сожаления, и слово это подействовало на всех так, как будто все только и ждали этого слова, чтобы перестать быть трупами и ожить. Они все смотрели на меня и ждали, что будет дальше. Они ждали, чтоб я сказал те слова и сделал те дела, от которых кости бы эти стали сближаться, обростать плотью и оживляться. Но я чувствовал, что у меня нет таких слов, нет таких дел, которыми бы я мог продолжать начатое; я чувствовал в глубине души, что я солгал, что мне дальше говорить нечего, и я стал записывать в карточки имена и звания всех лиц в этой квартире. Этот случай навел меня на мысль о том, что можно помочь и этим несчастным. Мне тогда в моем самообольщении казалось, что это очень легко. Я говорил себе: вот мы запишем и этих женщин, и после мы (кто такие эти мы, я не отдавал себе отчета), когда всё запишем, займемся этим. Я воображал, что мы, те самые, которые

приводили и приводим этих женщин в это состояние в продолжение нескольких поколений, в один прекрасный день вздумаем и сейчас же поправим всё это. А между тем, хоть вспомнив только мой разговор с той распутной женщиной, которая качала ребенка больной родильницы, я бы мог понять всё безумие такого предположения.

Когда мы увидели эту женщину с ребенком, мы думали, что это ее ребенок. Она на вопрос, кто она, прямо сказала, что она девка. Она не сказала: проститутка. Только мещанин, хозяин квартиры, употребил это страшное слово. Предположение о том, что у нее есть ребенок, дало мне мысль вывести ее из ее положения. Я спросил:

— Это ребенок ваш?

— Нет, это вот той женщины.

— Отчего же вы его качаете?

— Да просила; она умирает.

Хотя предположение мое оказалось несправедливым, я продолжал говорить с нею в том же духе. Я стал расспрашивать ее, кто она и как попала в такое положение. Она охотно и очень просто рассказала мне свою историю. Она московская мещанка, дочь фабричного. Она осталась сиротой, ее взяла тетка. От тетки и пошла ходить по трактирам. Тетка теперь умерла. Когда я ее спросил, не хочет ли она переменить жизнь, вопрос мой, очевидно, нисколько даже не заинтересовал ее. Как же может интересовать человека предложение чего-нибудь совершенно невозможного? Она усмехнулась и сказала:

— Да кто ж меня возьмет с желтым билетом?

— Ну да если бы найти место в кухарки или куда? — сказал я.

Мне пришла эта мысль потому, что она женщина сильная, русая, с добрым и глуповатым, круглым лицом. Такие бывают кухарки. Мои слова, очевидно, ей не понравились. Она повторила:

— Кухарки? Да я не умею хлебы-то печь, — сказала она и засмеялась. Она сказала, что не умеет, но я видел по выражению ее лица, что она и не хочет быть кухаркой, что она считает положение и звание кухарки низкими.

Женщина эта, самым простым образом пожертвовавшая, как евангельская вдова, всем, что у ней было, для больной, вместе с тем, так же как и другие ее товарки, считает положение рабочего человека низким и достойным презрения. Она воспиталась так, чтобы жить не работая, а тою жизнью, которая считается для нее естественной ее окружающими. В этом ее несчастье. И этим несчастьем она попала и удерживается в своем положении. Это привело ее сидеть в трактире. Кто же из нас — мужчин или женщин — будет исправлять ее от этого ее ложного взгляда на жизнь? Где среди нас те люди, которые убеждены в том, что всякая трудовая жизнь уважительнее праздной, — убеждены в этом и живут сообразно этому убеждению и сообразно этому убеждению ценят и уважают людей? Если б я подумал

об этом, я бы мог понять, что ни я и никто из тех, кого я знаю, не может лечить от этой болезни.

Я бы мог понять, что эти высунувшиеся из-за перегородки, изумленные и умиленные головы выражали только изумление от высказанного к ним сочувствия, но никак не надежду на исправление их от безнравственности. Они не видят безнравственности своей жизни. Они видят, что их презирают и ругают, но за что их так презирают, им невозможно понять. Их жизнь так шла с детства среди точно таких же женщин, которые, они знают очень хорошо, всегда были и есть, которые необходимы в обществе — так необходимы, что существуют правительственные чиновники, заботящиеся об их правильном существовании. Кроме того, они знают, что они имеют власть над людьми и покоряют их и владеют часто ими больше, чем другие женщины. Они видят, что положение их в обществе, несмотря на то, что всегда их ругают, признается и женщинами, и мужчинами, и начальством, и потому не могут даже понять, в чем им раскаиваться и в чем им исправляться. В один из обходов студент рассказал мне, что в одной из квартир есть женщина, торгующая своей 13-тилетней дочерью. Желая спасти эту девочку, я нарочно пошел в эту квартиру. Мать и дочь живут в большой бедности. Мать маленькая, черненькая, лет сорока, проститутка, не только безобразная, но неприятно безобразная. Дочь такая же неприятная. На все мои окольные вопросы об их жизни мать недоверчиво и враждебно, коротко отвечала мне, очевидно чувствуя во мне врага, имеющего злые намерения; дочь ничего не отвечала, не взглянув на мать, и, очевидно, вполне доверялась матери. Жалости сердечной они не возбудили во мне, скорее отвращение. Но я решил, что надо спасти дочь — заинтересовать дам, сочувствующих жалкому положению этих женщин, и прислать сюда. Но если бы я подумал о всем том длинном прошлом матери, о том, как она родила, выкормила и воспитала эту дочь в своем положении, наверное, уже без малейшей помощи от людей и с тяжелыми жертвами, если бы я подумал о том взгляде на жизнь, который образовался у этой женщины, я бы понял, что в поступке матери нет решительно ничего дурного и безнравственного: она делала и делает для дочери всё, что может, т. е. то, что она считает лучшим для себя. Отнять насильно можно эту дочь от матери, но убедить мать, что она делает дурное, продавая свою дочь, нельзя. Если уж спасать, то спасать надо было эту женщину-мать и гораздо прежде, спасать от того взгляда на жизнь, одобряемого всеми, при котором женщина может жить без брака, т. е. без рождения детей и без работы, служа только удовлетворению чувственности. Если бы я подумал об этом, то я бы понял, что большинство тех дам, которых я хотел прислать сюда для спасения этой девочки, не только сами живут без рождения детей и без работы, служа только удовлетворению чувственности, но и сознательно воспитывают своих девочек для этой самой жизни: одна мать ведет дочь в трактир, другая — ко двору или на балы. Но у той и у другой матери мирозерцание одно и то же, именно — что женщина должна удовлетворять похоть мужчины и за это ее должны кормить, одевать и жалеть. Так как же наши дамы будут исправлять эту женщину и ее дочь?